



**ТО, ЧТО НА ВИДУ, МНЕ ПРАВИТСЯ  
ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ, КАК И ТО,  
ЧТО СКРЫТО**

**В**оскресенье тоже выдалось ясным, ветра почти не было. В лучах осеннего солнца переливалась листва самых разных оттенков. Расположившись на террасе, я наблюдал, как белогрудые птички, порхая с ветки на ветку, проворно клевали красные плоды. Красота природы беспристрастна и одинаково доступна как богатым, так и беднякам. То же и с временем. Хотя нет. Время — это нечто иное. Его богатеи приобретают за деньги, с запасом.

Ровно в десять, взобравшись по склону, перед домом возникла ярко-синяя «тоёта приус». На сей раз Сёко Акигава была в узких бледно-зеленых брючках из хлопка и бежевой обтягивающей водолазке. На шее поблескивала золотая цепочка. Прическа, как и прежде, — почти идеальная. Когда волосы покачивались, из-под них выглядывал затылок. Сегодня Сёко оставила прежнюю дамскую сумочку дома и взяла замшевую, с ремнем через плечо, на ногах — коричневые парусиновые туфли. Вся одежда простая, но наряд продуман до мелочей. Грудь у нее и впрямь красивая. Ее племянница сказала бы — «без подкладок». Можно сказать, бюст ее меня пленил — исключительно в эстетическом смысле.

А вот Мариэ Акигава сегодня выглядела совсем иначе, повседневно — в потертых голубых джинсах и белых кедах «Конверс». На джинсах местами зияли дыры, разумеется — нарочно проделанные с предельной осторожностью. Сверху же на ней была плотная клетчатая рубаша — обычно такие носят лесорубы, а на плечи накинута тонкая серая ветровка. Бугорков груди по-прежнему не наблюдалось, а на лице — прежняя кислая мина. Как у кошки, у которой отобрали миску с едой, едва она принялась за еду.

Как и в прошлый раз, я заварил черный чай и принес его в гостиную. Затем показал гостям три эскиза, которые набросал на прошлой неделе. Сёко Акигаве, похоже, они понравились.

— Какой ни возьми, Мариэ выглядит естественней, чем даже на фотографии. Прямо как живая.

— Это... можно взять? — спросила у меня Мариэ Акигава.

— Конечно, — ответил я. — Когда картина будет готова. Пока же эскиз может мне пригодиться.

— Как ты себя ведешь?.. — укоризненно сказала племяннице тетушка и обратилась ко мне: — Что, действительно можно? — обеспокоенно спросила она.

— Не имеет значения. Завершу портрет — и они мне не нужны.

— Значит, какой-то вы используете для наброска? — спросила Мариэ.

Я покачал головой:

— Ни один не стану. Эти эскизы я сделал лишь для того, чтобы нащупать твой объемный образ. На холсте же я буду писать другую тебя.

— Выходит, образ уже сложился у вас в голове?

Я опять покачал головой:

— Нет еще. Мы с тобой будем создавать его вместе.

— Нащупывать меня объемно? — уточнила Мариэ.

— Именно, — ответил я. — Материально холст — поверхность плоская. А портрет нужно писать в объеме, понимаешь?

Мариэ нахмурилась. Мельком взглянув на обтянутую водолазкой грудь тети, она перевела взгляд на меня, и я предположил, что при слове «объемный» она, вероятно, задумалась о форме собственной груди.

— Как удастся так умело рисовать?

— Ты про эскиз?

— И про эскиз, и про кроки на занятиях.

— Практика. Рисуя, постепенно набиваешь руку.

— Но ведь немало и тех, у кого так не получается, сколько б ни рисовали.

Она была права. Сколько моих сокурсников практиковались — но рисовать так и не научились. Как ни старайся, способности людей во многом зависят от их врожденных качеств, хотя об этом сейчас благоразумней умолчать, иначе разговору не будет ни конца, ни края.

— Но это не значит, что можно не практиковаться. Вне сомнения, существует немало талантов и качеств, которые не проявятся, если их не развивать.

Сёко Акигава была полностью со мной согласна, а Мариэ лишь поджала губы, как будто не торопилась принять мои слова на веру.

— Ты ведь хочешь научиться рисовать? — поинтересовался я у Мариэ.

Она кивнула.

— Что на виду, мне нравится примерно так же, как и то, что скрыто.

Я посмотрел ей в глаза и заметил в них некий блеск. Я не очень понял, что она имела в виду, но привлекли меня даже не ее слова, а искорки в глубине ее глаз.

— Весьма странное замечание, — отозвалась Сёко Акигава. — Прямо загадками ты говоришь.

Мариэ, ничего на это не ответив, разглядывала свои руки. Вскоре она подняла голову: блеска у нее в глазах как не бывало. Вспышка эта длилась лишь миг.

Мы с Мариэ Акигавой ушли в мастерскую. Сёко достала из сумочки тот же, как мне показалось, *ноутбук* и, откинувшись на спинку дивана, тут же погрузилась в чтение. Похоже, читала она запоем. Мне еще сильнее захотелось узнать, что это за книга, но спросить название я постеснялся.

Мариэ и я, как и в прошлый раз, расположились в паре метров друг напротив друга. Только теперь передо мной стоял мольберт с холстом, но время кистей и красок пока не пришло. Я попеременно смотрел то на девочку, то на чистый холст и размышлял, как перенести ее облик на него *объемно*. Ведь для этого требуется некая *история*. Банальное копирование — не творчество: тогда у меня получится удачный портрет, но никак не произведение искусства. Мне же предстояло не просто перенести ее облик на холст как есть, а именно отыскать ту *историю, что должна быть там отобразена*. И это станет для меня важной отправной точкой.

С высоты своего табурета я долго смотрел на лицо Мариэ Акигавы, которая сидела на стуле из столовой. Она не отводила глаз и почти не моргала в ответ на мой взгляд. Смотрела на меня она не вызывающе, но в ее глазах читалось решительное «не отступлю». Правильные, буквально кукольные черты лица, как правило, создавали у людей ошибочное впечатление, но характер у девочки был крепкий, в ней чувствовался стержень. Такая неколебимо пойдет своим путем, ее с него не собьешь.

Если присмотреться, было в ее взгляде нечто от Мэнсики. Это я ощущал и прежде, но сейчас это сходство поразило меня вновь. Странный блеск ее глаз — его так и подмывало назвать «оледеневшим пламенем», — пылкий и одновременно всецело спокойный, напоминал какой-то драгоценный камень, что мерцает сам в себе. Во взгляде этом остро сталкивались две силы: он искренне звал к открытости и был направлен внутрь, как бы стремясь к завершенности.

Однако подобная трактовка вполне могла возникнуть у меня и после недавнего признания Мэнсики в том, что девочка, возможно, — его родная дочь. А раз такая связь существует, возможно, я неосознанно стараюсь обнаружить и нечто схожее между ними.

Так или иначе, мне предстояло изобразить на портрете эту *изюминку* ее взгляда. Саму суть выражения ее лица, нечто, приоткрывающее потайную дверку всей ее внешности — вот что важно. Однако я пока не мог отыскать тот контекст, какой мог бы вписать в ее портрет. Не постараюсь это сделать — выйдет лишь холодная стекляшка, а не самоцвет. Мне же нестерпимо хотелось узнать, откуда взялся тот источник тепла у нее во взгляде и куда он устремлен.

Минут пятнадцать я смотрел то на холст, то на лицо девочки, а после оставил эту затею. Отодвинув мольберт в сторону, я несколько раз глубоко вдохнул.

— Давай поговорим, — произнес я.

— Давайте, — ответила Мариэ. — О чем?

— Хочу побольше о тебе узнать — если, конечно, ты не против.

— Например?

— Скажем, твой отец — он какой?

Мариэ слегка скривилась.

— О папе я мало что знаю.

— Редко беседуете?

— Да и видимся не часто.

— Наверное, занят работой?

— Я не знаю, чем он там занят, — ответила Мариэ. — По-моему, он мною просто не интересуется.

— Не интересуется?

— Потому и бросил меня на тетю.

Я ничего на это не ответил.

— А маму ты помнишь? Тебе ведь было шесть лет, когда она умерла.

— Мама мне вспоминается какими-то *обрывками*.

— В смысле?

— Слишком быстро ушла она из моей жизни.

Я тогда еще не понимала, что значит «человек умирает», поэтому считала, что ее просто *не стало*. Как дыма, ускользнувшего в щель. — Мариэ помолчала, а затем продолжила: — Вот только не стало ее так внезапно, что я никак не могла взять в толк, почему это случилось. Поэтому мне и трудно вспомнить, что было до, а что после ее смерти.

— Тебе, видимо, пришлось нелегко?

— То время, когда мама была, и то, когда ее не стало, словно бы разделилось высокой стеной — и вместе эти половинки уже не сойдутся, — помолчав, сказала Мариэ и прикусила губу. — Понимаете меня?

— Надеюсь, что да, — ответил я. — По-моему, я рассказывал в прошлый раз про мою младшую сестру, которая умерла, когда ей было двенадцать?

Мариэ кивнула.

— У нее был врожденный порок сердца. Ей сделали сложную операцию, все прошло успешно. Но недуг почему-то остался, а это — как жить с бомбой

в теле. Поэтому у нас в семье все были готовы к худшему, всегда. Иными словами, это не стало для нас градом с ясного неба, как было с твоей мамой.

— Градом?

— Так говорят — «град с ясного неба», — сказал я. — Когда в погожий день внезапно сыплет град. Ну, то есть неожиданно происходит то, чего даже не предполагали.

— Град с ясного неба... — повторила она. — Какие там иероглифы?

— Ясное небо — «голубой» и «небо». Град — сложные, я сам не помню. Ни разу не писал. Посмотри в словаре, как вернешься домой, если хочешь.

— Град с ясного неба, — еще раз повторила она. Эта фраза словно заняла выдвижной ящичек в ее голове.

— Как бы там ни было, мы в определенной мере представляли, что может случиться. Но на самом деле, когда у сестры внезапно случился приступ, и она в тот же день умерла, никакая наша готовность не пригодилась. Меня буквально подкосило. Да и не только меня — всю семью.

— После у вас внутри, наверное, много что переменялось?

— Да, после этого — *и внутри, и вокруг* меня многое переменялось совершенно. Даже время потекло иначе. Как ты верно подметила, все разделилось надвое так, что половинкам уже никогда не сойтись.

Мариэ секунд десять пристально смотрела на меня, затем сказала:

— Сестра была вам очень дорога?

Я кивнул.

— Да, очень.

Мариэ Акигава опустила взгляд и о чем-то крепко задумалась. После чего вновь посмотрела на меня и произнесла:



— Из-за этого барьера в памяти я не могу толком вспомнить маму. Какой она была, как выглядела, что мне говорила. Отец мне тоже о ней почти ничего не рассказывает.

Мне известны о матери Мариэ Акигавы лишь мельчайшие подробности того, как Мэнсики переспал с ней в последний раз. Он же сам рассказывал мне о том страстном соитии на диване в у него в кабинете, которое, вероятно, и привело к зачатию Мариэ. Но об этом, разумеется, девочке не сообщишь.

— Но ты хоть что-то о ней помнишь? Ведь до шести лет вы прожили вместе.

— Только запах.

— Запах маминого тела?

— Нет, не тела — дождя.

— Запах дождя?

— Тогда шел дождь. До того сильный, что было слышно, как капли бьют по земле. А мама шла по улице, не раскрывая зонтика. Я тоже шла под дождем, держа ее за руку. Кажется, было лето.

— То был, значит, летний ливень?

— Скорее всего. И стоял такой запах, когда первые крупные капли дождя лупят по раскаленному солнцем асфальту. Вот его я и запомнила. Место было чем-то вроде смотровой площадки на горе, и мама пела песню.

— Какую?

— Мелодия вылетела у меня из головы, а слова... слова я помню. «На той стороне реки лежит луг. Там все залито ярким солнцем, а здесь беспросветный нудный дождь». Что-то вроде. Вам доводилось ее слышать, сэнсэй?

Такой песни я не припоминал.

— По-моему, нет.

Мариэ Акигава слегка пожала плечами:

— Я спрашивала у разных людей, но эту песню не слышал никто. Интересно, почему? Может, я ее сама придумала?

— Или же мама прямо там сочинила ее. Для тебя. Мариэ подняла на меня глаза и улыбнулась.

— Такое мне даже в голову не приходило. Но если это правда, до чего же это прекрасно.

И тут я впервые увидел, как она улыбается. Та улыбка была будто яркий луч, что прорвался сквозь толщу туч и осветил какой-то особый клочок земли.

Я спросил у Мариэ:

— Если туда вернуться, ты сможешь узнать это место? Смотровую площадку на горе?

— Пожалуй, да, — ответила Мариэ. — Не уверена, но, пожалуй, вспомню.

— Прекрасно, что тыохранишь в себе ту сцену, — сказал я.

Мариэ просто кивнула.

Затем какое-то время мы вместе наслаждались птичьим щебетом. За окном высилось безоблачное осеннее небо. Мы думали каждый о своем.

— Вон та картина, что стоит лицом к стене, — это что? — первой нарушила молчание Мариэ.

Девочка показывала на тот портрет, что написал — вернее, попытался, «Мужчина с белым “субару форестером”». Чтобы не смотреть на этот холст, я прислонил его к стене да так и оставил.

— Начатая картина. Собирался нарисовать одного человека. Но отложил на потом.

— Покажете?

— Покажу. Хотя она не окончена.

Я развернул картину и поставил на мольберт. Мариэ поднялась со стула, подошла и, скрестив на груди руки, принялась ее рассматривать. В ее гла-

зах опять вспыхнул тот резкий блеск, а губы плотно сжались едва ли не в прямую линию.

Тот портрет я начал писать лишь в красных, зеленых и черных тонах, и мужчина, который должен был занять там свое место, отчетливо еще не проступил на холсте. Сама фигура его, набросанная углем, теперь скрывалась под красками. Он сам отказался воплощаться далее, но я понимал, что он где-то здесь. Я улавливал самую его суть — так невод охватывает рыбу, не видимую в пучине моря. Я стремился найти способ вытащить этот невод, а мужчина мне мешал. Пока мы с ним так препирались, работа над картиной приостановилась.

— И на этом вы бросили? — спросила Мариэ.

— Ну да. И дальше наброска продвинуться не могу.

Мариэ тихо сказала:

— Но даже и так портрет выглядит вполне законченным.

Я встал рядом с девочкой и заново взглянул на холст. Неужели ей виден облик скрытого в этом мраке мужчины?

— То есть ты считаешь, что лучше ничего уже не добавлять?

— Ага. Мне кажется, можно все оставить, как есть.

Я сглотнул слюну. Ее устами со мною будто говорил сам мужчина с белым «субару»: *Оставь картину, как есть, не вздумай ничего добавлять.*

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

Мариэ ответила не сразу. Сосредоточенно посмотрев на картину еще сколько-то, она отняла руки от груди и прижала их к щекам — словно пыталась их остудить. После чего сказала:

— В ней и так достаточно силы.

— Достаточно силы?

— Мне так кажется.

— И сила эта не слишком *добрая*?

Мариэ на это ничего не ответила — лишь продолжала держаться ладонями за щеки.

— Сэнсэй, а вы хорошо знаете этого мужчину?

Я покачал головой:

— Нет. Признаться, я о нем не знаю ничего. Случайно встретился с ним не так давно, пока путешествовал, в каком-то городке в глуши. Мы с ним даже не разговаривали, и я не знаю, как его зовут.

— Добрая это сила или нет — непонятно. Наверное, может быть то хорошей, то плохой, ведь все выглядит иначе под разными углами.

— Но ты считаешь, что ее лучше не воплощать на холсте?

Она посмотрела мне в глаза.

— Если воплотить, а она окажется *недоброй*, — как с ней быть? Вдруг она и сюда дотянется...

А ведь она права, подумал я. Если сила эта окажется совсем не *доброй*, если она будет *злой* и дотянется до сюда... как мне с ней быть?

Я снял картину с мольберта, развернул к стене и поставил на прежнее место. Царившее в мастерской напряжение словно бы мигом улетучилось.

Пожалуй, будет лучше хорошенько упаковать эту картину и отнести на чердак, подумал я. Примерно так же, как Томохико Амада убрал с глаз долой свою.

— Ладно, а что скажешь об этой картине? — спросил я, показывая на стену, где висело «Убийство Командора».

— Эта мне нравится, — не колеблясь, ответила Мариэ. — Кто ее нарисовал?

— Томохико Амада, хозяин этого дома.

— Эта картина к чему-то зовет. Такое чувство, будто птица хочет вырваться из тесной клетки на волю.